

## Критика криминального разума

### «Злые максимы»

Из романов Достоевского видно, что нигилистически-криминальному сознанию, оказавшемуся во власти ночной души, присуще особое видение мира, подчиняющееся императивам характерного свойства, которые можно было бы назвать вслед за Кантом «злыми максимами». Эти максимы, с одной стороны, обосновывают и оправдывают immoralные и преступные действия, а с другой — нейтрализуют внешний напор морально-правовых аргументов.

Криминально ориентированный разум стремится противопоставить общепринятой системе культурных ценностей собственную, альтернативную иерархию ценностей. Его мотивационно-аргументационная деятельность разворачивается при этом в двух основных направлениях. Во-первых, это исполненные агрессивного азарта нападки на традиционные нормативно-ценностные системы. Во-вторых, это усилия по логическому и даже философскому обоснованию притязаний immoralно-криминального характера. Сведенные вместе, эти два направления интеллектуальной деятельности выступают как попытка радикальной переоценки общепринятых ценностей.

Этот сложный умственный труд не под силу заурядным обладателям приземленного рассудка. У Достоевского его берут на себя герои, наделенные выдающимися интеллектуальными и философскими способностями, — Раскольников и Иван Карамазов.

Характерно, что в истории философии подобные переоценки осуществляли чаще всего профессиональные мыслители — греческие софисты и циники, затем Макиавелли и де Сад и, наконец, уже в XIX веке — Ницше. В итоге они оказывались вольными или невольными идеологами и политических гладиаторов, и уголовных преступников.

В тех случаях, когда криминально ориентированный разум стремится сам проделать работу по философско-экзистенциальному обоснованию своих преступных замыслов и усилий, он либо наделяет преступление по природе ему не свойственными, а только приписываемыми оправдательными смыслами, либо же погружается во фрустрационное состояние смыслового вакуума, когда с мысленного пути, ведущего к преступной цели, убираются все мотивационные препятствия религиозно-нравственного и естественно-правового характера.

Когда Иван попытался перед Алешей обосновать право человека на преступление, он поверг в смятение потрясенного младшего брата. Алеша вскрикнул: «Брат, позволь же спросить: неужели имеет право всякий человек решать, смотря на остальных людей, кто из них достоин жить и кто более недостоин?»

— К чему же тут вмешивать решение по достоинству? Этот вопрос всего чаще решается в сердцах людей совсем не на основании достоинств, а по другим причинам, гораздо более натуральным. А насчет права, так кто же не имеет права желать?

— Не смерти же другого?

— А хотя бы даже и смерти? К чему же лгать пред собою, когда все люди так живут, а пожалуй, так и не могут иначе жить...» (14, 131).

Далее Иван, уже переведя разговор на себя, уточняет, что сам он не способен проливать человеческую кровь, но

в желаниях своих он склоняется к тому, чтобы оставить за собой полный простор.

Та беспредельная, ошеломляющая свобода в желаниях и мыслях, которую Иван сам себе предоставил, была бы для него совершенно невозможна, не будь он атеистом.

Используемое героями Достоевского констатирующее суждение о том, что «Бога нет» или «Бог мертв», способно в одних случаях порождать ощущение свободы-вседозволенности, а в других — впечатление пустоты и бессмыслицы сущего. Его следствием становится деморализация, а с нею — возможное нарастание агрессивности и готовности к активным деструктивно-криминальным действиям.

Аргументация криминального разума складывается из следующих тезисов:

- отсутствие в мире каких-либо объективных, всеобщих, то есть обязательных для всех нормативных начал;

- неустранимость мировых дисгармоний; а поскольку все в мире изначально уродливо искажено, то, по сути, нет разницы между добродетелью и пороком, подвигом и преступлением;

- неустранимость антропологических изъянов, толкающих людей на преступления;

- трансгрессивность человека как его родовое свойство, не позволяющее ему существовать только в пределах строго очерченных нормативных пространств и постоянно провоцирующее его на нарушения существующих нравственно-правовых запретов;

- подверженность человека темным метафизическим воздействиям, способствующим его превращению в преступника;

- существование особого разряда людей, которые благодаря своим выдающимся интеллектуально-волевым ка-

чествам возвышаются над окружающими и потому имеют дополнительное право нарушать моральные нормы и юридические законы.

То, что происходит с Раскольниковым и Иваном Карамазовым, истории их преступлений, вначале задуманных, а затем осуществленных собственными или чужими руками — это фактически тема сговора духа с ночной душой, тема подчинения высшего начала низшему, конструктивного — деструктивному. В обоих случаях произошла демонизация духа. Демоны, которыми было наполнено внутреннее пространство ночной души, проникли в пространство духа, заполнили его. Все светлое в нем померкло, все возвышенное обрушилось, образы истины, добра, справедливости, красоты распались, обратились в собственные противоположности. Место чистых желаний заняли темные соблазны. И все вместе это слилось в единую тему — демонодицею.

### **«Шатость» нравственных понятий**

В глазах Достоевского все существующие вариации обозначенных выше тезисов-аргументов криминального разума восходят к одному субъективному фактору, который он назвал чудовищной путаницей или «шатостью» понятий о добре и зле. Именно она, эта невероятная путаница, позволяет оправдывать нигилизм, цинизм, имморализм и полагать, будто преступлений вообще не существует, а то, что именуют преступлениями, таковыми не являются.

Истоки подобной «шатости» нравственных понятий были писателю совершенно ясны. При отвержении Бога как верховного первопринципа, крепящего всю иерархию норм и ценностей человеческого существования, иначе и

быть не могло. Атеисты и позитивисты, как сознательные, так и бессознательные, могли иметь дело лишь с обломками рухнувшей иерархии и были вынуждены блуждать среди них либо с злорадным, либо с равнодушным, либо с потерянным видом. Пребывая в глубокой тьме непонимания важнейших жизненных смыслов и обладая испорченным внутренним компасом, они были обречены на то, чтобы окончательно заблудиться в экзистенциальном пространстве человеческого бытия.

В отличие от криминального разума, раздумывающего над тем, как бы обмануть себя и уничтожить все религиозно-метафизические и нравственные препятствия на пути к преступлению, криминальный рассудок занят в основном тем, что ищет практические пути и средства для реализации задуманных планов. Для рассудка важно оставаться в замкнутом смысловом пространстве, где все бы отвечало его целям и прагматическим интересам и не было бы места ни для внутренних противоречий, ни для каких либо когнитивных или нормативно-ценностных диссонансов.

Достоевского мало интересует деятельность криминального рассудка. Его романы «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» — это критика криминального разума. Уже в Раскольникове он выводит дерзкого теоретика, склонного к интеллектуальным авантюрам и стремящегося логически обосновать право отдельных лиц на насилие. Раскольников пытается выбраться из тисков сдавившей его разум антиномии: «Я имею право и должен убить. — Я не имею права и не должен убивать». Решительной попыткой прорыва из ее плена становится его мини-трактат о «праве на кровь».

Первую статью юного студента можно рассматривать как своеобразную апологию криминального разума. Излагая ее содержание, Раскольников говорит: «Я просто-

запросто намекнул, что «необыкновенный» человек имеет право... то есть не официальное право, а сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть... через иные препятствия, и единственно в том только случае, если исполнение его идеи (иногда спасительной, может быть, для всего человечества) того потребует... По-моему, если бы Кеплеровы и Ньютоновы открытия вследствие каких-нибудь комбинаций никоим образом не могли бы стать известными людям иначе как с пожертвованием жизни одного, десяти, ста и так далее человек, мешавших этому открытию или ставших бы на их пути как препятствие, то Ньютон имел бы право, и даже был бы обязан... *устранить* этих десять или сто человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству. Из этого, впрочем, вовсе не следует, что Ньютон имел право убивать кого вздумается, встречных и поперечных, или воровать каждый день на базаре. Далее, помнится мне, я развиваю в моей статье что все.... ну, например, хоть законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и так далее, все до единого были преступники, уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древний, свято чтимый обществом и от отцов перешедший, и, уж, конечно, не останавливались и перед кровью, если только кровь (иногда совсем невинная и доблестно пролитая за древний закон) могла им помочь. Замечательно даже, что большая часть этих благодетелей и установителей человечества были особенно страшными кровопроливцами. Одним словом, я вывожу, что и все, не только великие, но и чуть-чуть из колеи выходящие люди, то есть чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое, должны, по природе своей, быть непременно преступниками — более или менее, разумеется. Иначе трудно им выйти из колеи, а оставаться в

колее, они, конечно, не могут согласиться, опять-таки по природе своей, а по-моему, так даже и обязаны не соглашаться...» (6, 199–200).

Логика рассуждений Раскольникова, в сущности, не слишком замысловата: если развитие цивилизации требует нарушений установившихся норм морали и права, совершения преступлений, то обязанность человека, понимающего это и заинтересованного в прогрессе, пойти на преступление.

Но кроме этой рассудочной логики самооправдания существует иная, скрытая логика постепенного подпадения Раскольника под власть своей ночной души. Она пробудилась в нем в комнате, похожей на гроб. Ее проявления становились все активнее, в результате чего в мыслях и поступках студента все явственнее стали обнаруживаться роковые искривления. Эти искривления подметил Разумихин, когда сказал о Раскольникове, что тот «малый умный, умный, очень даже неглупый, только какой-то склад мыслей особенный...» (6, 189).

Ночная душа заставила Раскольникова ратовать за «вековечную войну» всех против всех и отстаивать право сильных на кровь слабых. Под ее воздействием в нем нарастало злобное презрение к абсолютному большинству людей. Ее диктатура делает из него «мономана» — превращает мысль о праве на убийство в центральный пункт его внутренней жизни, вокруг которого начинают вращаться все остальные мысли и чувства. И хотя дух Раскольникова временами пытался сопротивляться и бороться, но ему не доставало нравственных сил, чтобы противостоять темным соблазнам.

Ночная душа Раскольникова становится главной виновницей роковых ошибок его ума и сердца. Спустя более чем десять лет после выхода романа Достоевский в «Днев-

нике писателя» раскроет суть этих ошибок, как бы продолжая свой криминологический анализ личности преступника, начатый в «Преступлении и наказании». Согласно его рассуждению, ошибки ума не столь опасны. Они успешно излечиваются под воздействием неотразимой логики самой «живой жизни». Что же касается ошибок сердца, то в них писатель видит следствие заражения всего духа, который может в итоге погрузиться в такую степень слепоты, что на него совершенно перестанут действовать факты, указывающие на прямую дорогу. Напротив, такой дух начинает перерабатывать факты на свой лад и скорее умрет, чем пожелает излечиться (25, 5).

То, что Раскольников даже после явки с повинной, а затем уже на каторге, не производит впечатления человека, раскаявшегося и вставшего на путь внутреннего самоочищения, свидетельствует о глубокой зараженности его духа ядовитыми миазмами ночной души, о его полной плененности «ошибками сердца».

Временами ночная душа бесчинствовала в его снах-кошмарах. И когда простодушная Настасья, узнав о сне Раскольникова, в котором били хозяйку, сказала, что это в нем «кровь кричит», она была недалеко от истины. Это в нем действительно кричала, билась и безумствовала уже обagrившая себя кровью жертв ночная душа убийцы.

### **Преступление — игра**

В статье Раскольникова интересы прогресса — далеко не единственный и отнюдь не главный разрешительный мотив возможных преступлений. В гораздо большей степени автора занимает проблема собственного самоутверждения. К нему вполне применимы слова Версилова, обращенные к Аркадию, фактическому ровеснику Расколь-



никова: «Тебе теперь именно хочется звонкой жизни, что-нибудь зажечь, что-нибудь раздробить, стать выше всей России, пронестись громовую тучей и оставить всех в страхе и восхищении...» (13, 174).

Раскольников жаждет полноты самоосуществления и ради этого готов рисковать. Подобно игроку в азартные игры он держит в поле своего зрения и возможность успеха, и вероятность краха. В роли банкмета для него выступает судьба, но Раскольников предпочитает именовать судьбу случаем и метафизическими категориями пользоваться как можно реже. Как истинный игрок-авантюрист он видит в задуманном преступлении средство испытания своих сил, воли, характера. Но самое главное для него — это доказать себе собственную избранность, непохожесть на обыкновенных, заурядных людей, страшщихся закона и наказания. По его мнению, большинство людей пугливы, не склонны к риску, боятся нового слова и нового шага. И ему весьма не хотелось походить на них.

С позиций авантюрно-криминального сознания преступление привлекательно тем, что способно разрушить банальность повседневного существования, внести эксцентрики и чрезвычайность в тусклую обыденность и тем самым подарить «смертному сердцу» «неизъяснимы наслаждения».

На протяжении криминальной коллизии Раскольников временами ощущал явные приливы игрового азарта. В такие моменты он становился похож на бальзаковского Рас-тиньяка, бросившего вызов Парижу: «Ну, а теперь посмотрим, кто кого!» У Раскольникова это звучит так: «Довольно!.. прочь миражи, прочь напускные страхи, прочь привидения!.. Есть жизнь!.. Не умерла еще моя жизнь вместе с старою старухой! Царство ей небесное и — довольно, матушка, пора на покой! Царство рассудка и света теперь и ...

и воля, и силы... и посмотрим теперь! Померяемся теперь!» — прибавил он заносчиво, как бы обращаясь к какой-то темной силе и вызывая ее... Гордость и самоуверенность нарастали в нем каждую минуту: уже в следующую минуту это становился не тот человек, что был в предыдущую...» (6, 147).

Бросив вызов обстоятельствам, Раскольников с самого начала оказался в ситуации опасной игры. Развернувшуюся криминальную коллизию сближает с игрой ряд свойств психолого-драматургического характера. Мысль о дерзком преступлении, а затем и оно само увлекают, захватывают, разжигают страсти, позволяют испытать удачу, находчивость, способность к самообладанию, изобретательность и т. д. Не менее захватывающим оказывается и последующее состязание преступника с идущим по его стопам правосудием. Игрок с судьбой постоянно ощущает, что он находится у бездны на краю, и эта близость смертельной опасности будоражит ему кровь, пьянит как вино. Чего стоит хотя бы рискованная беседа Раскольникова с Заметовым в трактире «Хрустальный дворец», когда он в безумной браваде говорит о том, что следовало бы таить от всех. Видя при этом изумленное и встревоженное лицо своего визави, он вспомнил и отчетливо представил те мгновенья, когда стоял с окровавленным топором в руках за дверью, люди рвались в квартиру, запор дергался и прыгал, а ему вдруг захотелось закричать им, высунуть язык и дразнить, дико хохоча. Аналогичное желание «язык высунуть» несколько раз посещало его в разговоре с Заметовым. Когда же он после всего этого уже выходил из трактира, то весь дрожал от какого-то дикого, истерического ощущения, в котором присутствовало странное, нестерпимое и мрачное наслаждение.

Этот же азарт игрока руководил Раскольниковым, когда он пожелал повторно прийти в квартиру, где совершил убийства. Неотразимое и необъяснимое желание влекло его. Ему захотелось на какой-то миг опять побалансировать на краю бездны, испытать вновь холодящий душу ужас и насладиться им. И когда он трижды дернул за колокольчик, вслушиваясь и припоминая, то «прежнее, мучительно-страшное, безобразное ощущение начинало все ярче и живее припоминаться ему, он вздрагивал с каждым ударом, и ему все приятнее и приятнее становилось» (6, 134).

Зачем, казалось бы, Раскольникову этот бессмысленный риск, от которого ему никакой пользы и выгоды? Сам Раскольников вряд ли сумел бы вразумительно ответить на этот вопрос. Он слишком глубоко погружен в ситуацию и ему недостает духовных сил, чтобы возвыситься над ней и адекватно оценить ее. К тому же он еще очень молод и делает на пути самопознания пока еще свои первые крупные шаги. Ответ мы находим в «Записках из подполья», где Подпольный господин достаточно развернуто и аргументированно доказывает, что у человеческой природы имеется одно примечательное свойство — заставляя человека в иные моменты жизни идти на страшный риск и поступать вопреки своим интересам и своей выгоде. Свободное хотенье, дикий каприз, раздраженная фантазия способны с такой силой овладевать им, что он становится готов ради их утоления все поставить на карту. Вот как описывает это состояние главный герой «Подростка»: «Я шел по тоненькому мостику из щепок, без перил, над пропастью, и мне весело было, что я так иду; даже заглядывал в пропасть. Был риск и было весело» (13, 164).

Здесь разыгрывается метафизическое воображение ночной души с ее волей к преступлению. Оно начинает

рисовать картины, позволяющие ощутить темное наркотическое наслаждение ужасом губительного пребывания над бездной, буквально на волоске от гибели, от срыва в ее зияющую тьму. Ночной душой движет метафизическое влечение к небытию и она заставляет человека идти на сближение с ним.

Ночная душа достаточно долго раздражала Раскольникова безобразной, но соблазнительной дерзостью задуманного преступления. Временами все это представлялось ему как что-то совершенно несерьезное и фантастическое. Лишь позднее, уже после преступления, т. е. после того, как на него легла «каинова печать» убийцы, для Раскольникова станет очевидным, что игра метафизического воображения, выйдя из-под нормативного контроля духа, обернулась трагедией-катастрофой.

Судьба свела Раскольникова с таким же сильным игроком — следователем Порфирием Петровичем. Достоевский не случайно наделяет пристава следственных дел ярко выраженным игровым темпераментом, страстью всех дурачить, распространять о себе небылицы, вроде тех, что он решил то податься в монахи, то жениться и т.п. После того, как эти две стоящие друг друга фигуры сошлись, между ними пошла большая игра, что называется, не на жизнь, а на смерть. Она стала игрой-дуэлью, столкновением интеллектов, воли, характеров.

Во всех этих опасных играх Раскольников выступает одновременно и игроком и зрителем, наблюдающим за собой как бы со стороны благодаря великолепно развитой способности к рефлексии. Но эта способность его не спасает, поскольку критерии его самооценок неустойчивы, постоянно меняются, обнаруживают свою зависимость, как от внешних обстоятельств, так и от состояний его собственного духа и тела, и в конечном счете смешиваются в

невообразимый хаос, обрекающий его на поражение в за-  
теянной им игре.

Еще на каторге Достоевский столкнулся с типом пре-  
ступника-игрока, который произвел на него сильное впе-  
чатление. Он описал характерную ситуацию с контрабанд-  
ной доставкой вина в острог: «Контрабандист работает по  
страсти, по призванию. Это отчасти поэт. Он рискует всем,  
идет на страшную опасность, хитрит, изобретает, выпуты-  
вается; иногда даже действует по какому-то вдохновению.  
Эта страсть столь же сильная, как и картежная игра» (4, 18).

У преступления, как и у игры, имеется свой хронотоп.  
Как и сценическая драма, оно ограничено во времени, на-  
чинаясь и завершаясь в определенный момент. Оно проте-  
кает внутри ограниченного социального пространства,  
имеет сценарий-план, режиссеров и исполнителей.

Обладая собственной логикой развития, криминальная  
ситуация имеет свойство нарастать, достигать кульмина-  
ционного момента и подходить к развязке. При этом эле-  
мент азарта, острота и сила переживаний в преступлении  
гораздо значительнее, чем в игре, поскольку преступник  
состязается здесь и с властями и с судьбой, выдвигая со  
своей стороны в качестве ставки свободу и даже жизнь.

Готовность поставить все на карту и понимание реаль-  
ной угрозы проигрыша сближает преступление с феноме-  
ном азартной карточной игры, которая, как это сумел пока-  
зать Ю. Лотман, являет собой своеобразную модель борь-  
бы человека с неподвластными ему обстоятельствами,  
стоящими над ним силами и даже самим роком. В такой  
игре, где возможны либо огромный выигрыш, либо сокру-  
шительное поражение и даже гибель, игрок должен обла-  
дать качествами авантюрного, криминально-романти-  
ческого склада, презирать законопослушных обывателей и  
всех, кого он считает трусливыми рабами обстоятельств.

И все же, несмотря на присутствие сходных черт у преступления и игры, они имеют кардинальные различия сущностного характера.

Во-первых, преступление отличается от игры мотивами. Если в игре они имеют вполне легальный и моральный характер, то в преступлении они изначально имморальны.

Во-вторых, они различаются средствами. Если в игре все, что может привести к победе, т. е. методы, пути, средства строго нормированы ее правилами, обязательными для участников, то преступление со всеми сопутствующими ему действиями — это игра без правил, где все средства хороши.

В-третьих, преступление и игру различают результаты: в игре они конструктивны и служат развитию цивилизации, а в преступлении деструктивны и препятствуют ее успешному развитию.

Таким образом, если криминальный разум даже и попытается посредством ряда софизмов приравнять преступление к игре и тем самым легализовать его статус в мотивационном контексте, это будет не более, чем система уловок, которая все равно рассыплется под напором жизненных реалий. Раскольников это понимает и не слишком держится за эту подмену. Поэтому посещающие его приливы боевого задора редки и быстротечны. Чаще всего его дух пребывает в сумеречном, мучительно-тягостном состоянии путника, взвалившего на себя непосильную ношу, никак не располагающую к задорным выпадам и задиристым наскокам на кого бы то ни было.

Разум Раскольникова прилагает немалые усилия, чтобы изобразить преступление как конструктивную реалию в контексте своих экзистенциальных смыслов. Он пытается увидеть в нем ни с чем не сравнимое по своей эффективности средство самопознания, уникальный способ пости-

жения предельных жизненных смыслов, не доступных для понимания иными путями. Его мучает непреодолимый соблазн заглянуть за черту, дозволенную законом, и прояснить для себя некие значимости. В свете всех этих намерений его малоприбыльное и даже в каком-то смысле бескорыстное ограбление является нонсенсом лишь с меркантильно-прагматической точки зрения. С экзистенциальных же позиций оно выглядит грандиозной авантюрой с невероятно богатым содержанием всевозможных смысловых интерференций. Для Раскольникова это не просто социальное действие, а метафизический акт испытания всего, что составляло суть и смысл его существования.

### **Преступление как экзистенциал**

То, что Раскольников называл необходимостью «убить для себя», способом почувствовать себя «не тварью дрожащей», а человеком высшего разряда, было нацелено на испытание истинности его модели мира и прочности принципов, на основе которых она была построена. И лишь попутно преступление давало возможность проверить действительность общепринятых нравственно-правовых норм и расположенность фортуны лично к нему, Раскольникову.

В свете криминально-экзистенциальных ориентаций преступление может выступать как способ заглянуть за символическую черту запретного. Трансгрессивная интенция-потребность в ощущении вкуса запретного плода сопровождается опасной иллюзией, будто через преступление может открыться некая высшая истина, недоступная большинству обычных людей и обретаемая только личными усилиями. Чтобы ее добыть, необходимо *самому* переступить черту закона. Только так можно почувствовать себя выше тех, кто на это не способен.

В подобных предположениях действительно есть доля истины. Да, преступление способно в качестве предельной экзистенциальной ситуации обнажать глубинные противоречия бытия и частично приподымать завесу над тайной сутью человеческого существования. Через него действительно может обнаруживаться то, что никогда бы не обнажилось, не шагни человек за роковую черту.

У Шекспира есть мысль о том, что мы знаем, кто мы есть, но не знаем, чем можем стать. Экзистенциальная функция преступления как раз заключается в том, чтобы позволить человеку узнать, кем он становится в запредельной ситуации пребывания по ту сторону добра, справедливости, человечности.

Пребывание за чертой дозволенного законом сообщает человеку некий темный опыт, который ядом разливается по его внутреннему «я». Подобный опыт способен, в свою очередь, подталкивать личность к новым шагам в том же деструктивно-криминальном направлении, чтобы еще больше расширилось субъективное пространство воображаемой свободы от норм и законов.

При этом совершается коварная подмена. Трансгрессивная природа заставляет человека стремиться к преодолению опасностей, трудных преград и к острым переживаниям, сопутствующим дерзким авантюрам. Жажда ярких, сильных, полных неподдельного драматизма впечатлений должна, казалось бы, обернуться ощущением полноты бытия. И преступление в подобных ситуациях выглядит как сравнительно легкодоступное средство достижения высокого накала страстей. Но вместо этого герои Достоевского оказываются, как правило, в почти безвыходном экзистенциальном тупике: вместо полноты жизни обнаруживается утрата ее смысла. И Раскольников, и Иван Карамазов, и даже несравнимо более примитивный, чем они, Смердяков



начинают словно бы проваливаться в какую-то глубокую тьму. И это не столько метафизическая тьма (хотя можно и о ней говорить, если учитывать мрачную нераскаянность Раскольникова, безумие Ивана и самоубийство Смердякова), сколько тьма *непонимания* главных жизненных смыслов, которые следует отыскивать на противоположном по отношению к преступлению ценностном полюсе. Силлогизмы криминального разума начинают рассыпаться под напором истинной живой жизни, требующей от человека быть образом и подобием Бога-творца, а не дьявола-разрушителя.

Характерно, что и Раскольников и Иван Карамазов хранили в глубокой тайне от окружающих свои экзистенциальные затруднения. Они никого не допускали в область своих внутренних, экзистенциальных конфликтов. Эти затруднения во многом способствовали обращению Ивана к мифотворчеству, заставили его переводить вопросы, не разрешаемые рациональными средствами, на язык мифологем. На этом уровне его мысль оказывалась более гуманной, чем на уровне рассудочного дискурса, упорно оправдывавшего практику «вседозволенности». И в какие-то моменты «мифологика» оказывалась спасительной, поскольку помогала духу Ивана выбираться из этических тупиков и до поры до времени спасала его личность от саморазрушения.